Государевы люди

Надточий В.Д.

НЭПМАНСКИЙ ГРИМ



18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Нэпманский грим

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Нэпманский грим / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Самое опасное преступление — то, в котором каждый играет свою роль, а зрители даже не подозревают, что стали участниками спектакля.1923 год. Советская Россия привыкает к роскоши НЭПа. Открываются рестораны, оживают театры, наживаются состояния. Но за блеском новой эпохи скрывается мир, где человеческая жизнь стоит дешевле чужой тайны.Из бывшего купеческого особняка в Твери исчезают шесть ящиков с ценностями Гохрана. Странные улики превращают обычное расследование в опасную игру, правила которой известны лишь преступнику.Дмитрию Ведерникову предстоит проникнуть за кулисы благополучной жизни нэпманов, где чужие имена, поддельные биографии и безупречные алиби скрывают тщательно продуманный обман.Здесь правда опаснее лжи, а цена разоблачения — жизнь.Занавес уже поднят. И никто не знает, для кого этот спектакль станет последним.

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Владислав Надточий
Государевы люди. Нэпманский грим

Надточий В.Д.
ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Нэпманский грим
Часть первая. Запечатанный особняк
Глава 1
Запечатанный особняк

Утром четырнадцатого февраля 1923 года Иван Никифорович Ряднов обнаружил, что из запертого хранилища исчезли шесть ящиков. Вечером он собственноручно проверял печати. Теперь они были на месте.

Бывший купеческий особняк на Миллионной улице в Твери приспособили для временного хранения ценностей, предназначенных к отправке в Москву. В парадных комнатах устроили канцелярию, а в кладовой за бывшей столовой поставили железную дверь. Ряднов, служивший прежде на почте, отвечал за ночное дежурство.

Накануне к особняку подъехали крытые сани. Человек в кожаном пальто предъявил бумаги Гохрана и распорядился перенести шесть тяжёлых ящиков в кладовую. При них оставили четырёх конвойных. Двоих, Федю и Гришу, Ряднов знал; остальных видел впервые. Один был рыжий, другой — чернявый, с золотым зубом.

— До отправки никого не пускать, — предупредил человек в пальто, забирая ключи.

Ряднов записал распоряжение в журнал. Ему не нравилось, что церковные ценности держат в доме, где даже ставни не везде закрываются. Но спорить с представителем Гохрана он не стал.

* * *

Около полуночи в передней позвонили. Ряднов отодвинул занавеску и увидел на крыльце господина в бобровой шубе. Незнакомец снял шапку, поклонился и попросил вызвать ответственного за груз.

— По какому делу?

— Передайте, что пришли за своим, любезнейший.

Ряднов отказался открывать. Господин не настаивал. Он спустился с крыльца и исчез за углом дома.

Сторож отправился проверить кладовую. В коридоре его окликнул чернявый конвойный. Ряднов успел заметить, что тот держит ключи, хотя ключей у него быть не должно. Затем последовал удар. Очнулся старик уже под утро, на полу канцелярии, с болью в плече и пересохшим горлом.

Он с трудом добрался до кладовой. На двери висели замки, сургучные печати казались целыми. Изнутри никто не отвечал. Ряднов позвал дворника и послал его за милицией.

Когда прибывшие вскрыли дверь, ящиков внутри не оказалось. Федю и Гришу нашли мёртвыми в соседней комнате. Двое других конвойных исчезли.

* * *

На письменном столе в канцелярии лежала ветка белой сирени. В феврале живой сирени в Твери не достать. Ряднов присмотрелся: цветы были восковые, листья сделаны из зелёной бумаги. Рядом лежала визитная карточка с золотым обрезом.

«ВАРНАКЪ».

Старик прочёл надпись и попросил воды.

— Был такой, — объяснил он милиционеру. — До войны ещё. В газетах писали. В крепости помер, лет четырнадцать назад.

— А человека на крыльце узнаете?

— Усы чёрные, бородка клинышком. Голос барский. Только лица толком не разглядел.

Милиционер убрал карточку и сирень в отдельные конверты. На воске заметили жирный след, происхождение которого пока никто не мог объяснить.

К девяти утра в Москву ушла телеграмма. Ряднова увезли в больницу. Особняк опечатали вновь, теперь уже в присутствии следователя.

Глава 2

Картотека

Картотека Московского уголовного розыска помещалась на втором этаже бывшего дома сыскной полиции в Малом Гнездниковском переулке, в комнате, которая при царе называлась «регистрационным бюро», а теперь никак не называлась, потому что её все звали просто «у Савельича».

Комната была длинная, узкая, с одним окном во двор. Вдоль стен от пола до потолка стояли дубовые ящики с медными ручками и ярлыками на торцах: «А — Аб», «Ав — Ад», «Ае — Ак». Двести сорок ящиков, сорок одна тысяча карточек. На каждой карточке из плотного картона, размером в половину почтовой открытки, значились фамилия, имя, отчество, кличка, год рождения, приметы, судимости, связи и адреса. В углу мелко проставляли номер второго экземпляра.

Вторые экземпляры хранились в железном шкафу в подвале. Об этом знали три человека.

Дмитрий Савельевич Сыромятников сидел у окна, за столом, на котором стояла лампа с зелёным абажуром, и пил чай. Было десять утра, четырнадцатое февраля. На столе перед ним лежала свежая «Рабочая Москва». Он её ещё не открывал.

Ему было тридцать три года. Невысокий, сухой, жилистый, с ранней сединой на висках и коротко подстриженными усами. Под старым, но чистым пиджаком, в кобуре под мышкой, он носил смит-вессон с гравировкой на рукояти. Уже четырнадцатый год.

На столе, рядом с чаем, стояла фотография в деревянной рамке. Женщина, круглолицая, светловолосая, в платке, с мальчиком на руках. Мальчику на фотографии был год. Теперь ему было два. Его звали Савва.

* * *

В дверь постучали.

— Савельич, — сказал дежурный, молодой, в гимнастёрке. — Тебя к начальнику. Срочно.

— Что там?

— Хранилище Гохрана в Твери, — сказал дежурный. — Ночью пропали ценности.

Дмитрий поставил стакан.

Тверь. Дмитрий вспомнил дела о почтовых вагонах, которыми занимался ещё до революции. Но зачем его вызывают из-за хранилища?

Он встал и пошёл.

* * *

Начальник МУРа, товарищ Бирюков, сидел в бывшем кабинете начальника сыскной полиции, в котором ещё сохранился камин с изразцами и бронзовая люстра. Ему было сорок пять лет. Он был бывший слесарь с Гужона, бывший красногвардеец, бывший комиссар полка на Южном фронте. Сыщиком он не был никогда. Он это знал, и поэтому слушал тех, кто был.

— Садись, Савельич, — сказал он. — Читал?

— Нет ещё.

Бирюков протянул ему телеграмму.

«Тверь. Ночь 14 февраля. Из временного хранилища Гохрана похищено шесть ящиков ценностей. Убиты двое конвойных. Ранен сторож Ряднов. Двое конвойных пропали. Обнаружена карточка Варнак. Тверская губмилиция».

Дмитрий прочитал два раза.

— Варнак, — сказал Бирюков. — Это ведь твой? С девятого года?

— Мой.

— Ты мне говорил, он помер. В крепости.

— Говорил, — сказал Дмитрий. — Есть акт.

Бирюков внимательно посмотрел на него. Сыскного опыта у него не было, зато хватало здравого смысла.

— Это он?

Дмитрий положил телеграмму на стол.

— Нет, — сказал он.

— Почему?

— Он никогда не убивал. Ни разу. Он говорил: «Я убиваю словом». — Дмитрий помолчал. — И он никогда не брал церковного. И он никогда не называл себя Варнаком. Это мы его так назвали. Полиция. Он себя называл Суфлёром. Или Артистом. Или никак.

— Может, переменился? — сказал Бирюков. — Четырнадцать лет. Время такое. Все переменились.

— Может, — сказал Дмитрий. — Но не он.

Бирюков подумал.

— Гохран звонил, — сказал он. — В шесть утра. Сам заведующий отделом приёмки. Тихомиров. Валериан Сергеевич. Очень вежливый. Очень обеспокоенный. Сказал, что ящики были с ценностями Тверской епархии, последняя партия, которую не успели вывезти в прошлом году. Сказал, что на полмиллиона золотом. Сказал, что сам поедет в Тверь. Просил, чтобы от нас был лучший. — Бирюков посмотрел на Дмитрия. — Я сказал: будет лучший.

— Спасибо.

— Не за что. — Бирюков потёр лоб. — И ещё. Ты газету не читал?

— Нет.

Бирюков развернул на столе «Рабочую Москву». Внизу третьей страницы Дмитрий увидел крупный заголовок:

«ВАРНАК ВЕРНУЛСЯ?»

И ниже, мелко: «Как сообщают из Твери, в ночь на 14 февраля из временного хранилища исчезли ценности Гохрана. Двое конвойных убиты. На месте преступления оставлена визитная карточка с надписью „Варнак“. Под этим прозвищем в 1909 году был известен провокатор царской охранки…»

Дмитрий не спеша дочитал заметку.

— Налёт был ночью, — сказал он. — В час, в два. Телеграмма из Твери пришла к вам когда?

— В пять сорок.

— А газета отпечатана когда?

Бирюков посмотрел на газету. Потом на Дмитрия.

— Газету печатают с вечера, — сказал он медленно. — В четыре утра уже развозят.

— Значит, редакция узнала о налёте ещё до четырёх утра, — сказал Дмитрий. — Задолго до вашей телеграммы. Кто сообщил газетчикам?

Бирюков отодвинул газету.

— Ну, Савельич, — сказал он наконец. — Ну ты даёшь.

— Узнайте в редакции, кто звонил.

— Узнаю. — Бирюков записал на бумажке. — Ещё что?

— Ещё поезд в Тверь, — сказал Дмитрий. — В одиннадцать.

* * *

До отправления оставался час. Дмитрий поспешил на Тверскую.

Редакция «Рабочей Москвы» помещалась во дворе, в бывшем доме страхового общества, в двух этажах, где раньше сидели конторщики. На лестнице пахло типографской краской, махоркой и мокрыми валенками. Внизу, в подвале, стучали машины. Наверху, в коридоре, бегали люди с гранками. Все были молодые. Все кричали. Никто не знал, кто ночью принимал звонки.

— Ночной выпускающий спит, — сказала ему девушка в красной косынке. — Он до шести сидел. А звонки по ночам принимает корректор. Аполлинарий Петрович. Он тоже до шести. Но он не спит. Он никогда не спит. Он в корректорской.

Корректорская была маленькая комната под самой крышей, с косым окном, заваленная газетами. За столом сидел старик. Худой, длинный, лысый, с венчиком седых волос, в пледе на плечах, в очках с толстыми стёклами. Он читал гранку. Губы у него шевелились.

— Минуточку, — сказал он, не поднимая головы. — Тут у них «пролетариат» без последнего «т». Третий раз за неделю. Сколько можно объяснять: слово должно заканчиваться на «ат»!

Он поставил на полях знак, отложил гранку и, сняв очки, посмотрел на Дмитрия.

— Уголовный розыск, — сказал он. Не спросил.

— Откуда вы знаете?

— По тому, как вы смотрите, — сказал старик. — Кто в редакцию приходит, тот смотрит на стены. Там у нас плакаты. А вы сразу на меня. — Он показал на стул. — Садитесь. Кусков. Аполлинарий Петрович. Сорок лет при газетах. До этого двадцать лет при театре, суфлёром. В Нижнем, в Казани, в Самаре. Вы насчёт Варнака?

— Насчёт Варнака.

— Я так и думал, что кто-нибудь придёт. — Кусков сложил руки на гранке. — Я его и принимал. Звонок был в час пятьдесят. Я время записываю. Привычка. В театре записывал, когда кто вошёл не по реплике.

— Кто звонил?

— Назвался корреспондентом из Твери. Петров. Продиктовал всю заметку: исчезновение ценностей из особняка, восковая сирень, карточка. Я записал и отнёс выпускающему.

— Почему?

Кусков задумчиво повертел очки в руках.

— Потому что он не диктовал, — сказал он. — Он читал. С листа. Так не диктуют, молодой человек. Когда человек диктует, он думает. Он говорит «запятая», он ищет слово, он говорит «нет, постойте, вычеркните». А этот не искал. Ни одного слова. Ни одной запятой. Он читал текст, который написал заранее. И читал его хорошо. — Кусков поднял палец. — Очень хорошо. С паузами. С ударениями. Где надо — тише. Где надо — громче. «Переодетыми. В форму. Белогвардейских. Офицеров». Вот так. Каждое слово отдельно. Чтобы галёрка слышала.

Дмитрий перестал записывать.

— Галёрка?

— Это я так говорю, — сказал Кусков. — По старой памяти. Я двадцать лет сидел в будке под сценой. Я голоса знаю, как вы сапоги. Есть голос для гостиной. Есть голос для залы. А есть голос для провинциального театра. Где зала большая, а публика простая. Где надо, чтобы в последнем ряду поняли, кто злодей. — Он помолчал. — Это был голос провинциальный. Хорошо поставленный. Старый. Такие голоса ставили до японской войны. Сейчас так не говорят. Сейчас говорят быстро, сквозь зубы, как телеграф.

— Возраст?

— Лет сорок пять. Пятьдесят. Не меньше. — Кусков подумал. — И ещё. Он сказал в конце: «Благодарю вас, голубчик». Голубчик. Корреспонденты так не говорят. Корреспонденты

говорят «спасибо, товарищ» и вешают трубку. А «голубчик» говорят старые актёры. Режиссёрам. Суфлёрам. Капельдинерам. Всем, кто ниже. Ласково. Сверху.

За косым окном над крышами шёл снег. Кусков ненадолго отвлёкся.

— Вы его знаете? — спросил Дмитрий.

— Нет, — сказал Кусков. — Голос не знаю. Я их всех не упомню. Их тысячи было. Бобчинских, Добчинских, Счастливцевых, Несчастливцевых. Все говорили «голубчик». — Он вдруг усмехнулся. — Знаете, что самое смешное? Он ошибся в одном месте. Продиктовал: «Перевозивший ценности Государственного хранилища». А телеграмма, вы говорите, пришла в пять сорок. Откуда корреспонденту в Твери знать в час пятьдесят, что в ящиках ценности Гохрана, а не почта? Ящики были запломбированы. На них написано «Гохран», это да. А что внутри, знает тот, кто их пломбировал.

Дмитрий долго молчал.

— Вы это выпускающему сказали?

— Сказал, — ответил Кусков. — Он сказал: старик, не мудри, время такое, все всё знают. И поставил. — Он взял гранку. Надел очки. — Я ему поставил вопросительный знак. Больше я ничего не мог. Я корректор. Я только знаки ставлю.

Дмитрий встал.

— Спасибо, Аполлинарий Петрович.

— Не за что, голубчик, — сказал Кусков и сухо рассмеялся. — Видите, заразно. — Он склонился над гранкой. — Идите, идите. Надо спасать пролетариат от наборщиков.

На лестнице Дмитрий остановился. Достал блокнот. Записал: «Звонок 1.50. Читал с листа. Голос провинциальный, поставленный, 45–50 лет. "Голубчик". Знал, что внутри ящиков». Подчеркнул последнее. Два раза.

Потом пошёл на Плющиху.

* * *

Он зашёл домой. На Плющиху.

Дом был тот же. Деревянный, одноэтажный, с мезонином, с палисадником, в котором зимой стояли под снегом три яблони. Тётка Матрёна Савельевна жила здесь с девятьсот первого года. Ей было шестьдесят восемь. Она уже не вставала с постели, а сидела в кресле у окна, у печки, укрытая платком, и смотрела на улицу. Говорила она мало. Но всё видела.

Настасья была на кухне. Она стирала. Руки у неё были красные, в мыльной пене, рукава закатаны до локтя. Савва сидел на полу у её ног и катал деревянную лошадку на колёсиках, которую Дмитрий выстрогал ему на Рождество.

— Уезжаешь, — сказала Настасья. Не спросила.

— В Тверь. На три дня. Может быть, на неделю.

Она вытерла руки о передник. Повернулась. Ей было двадцать пять. Она была из-под Можайска, из деревни, дочь кузнеца. В девятнадцатом году пришла в Москву пешком, с узелком, искать работу. Нашла: сиделкой в Шереметевской больнице. Там Дмитрий её и увидел, в двадцатом, когда лежал с тифом. Она сидела у его койки три недели. Он выжил. Он сказал ей: «Выходите за меня». Она сказала: «Вот ещё». А через месяц пришла на Плющиху с тем же узелком, и тётка Матрёна посмотрела на неё и сказала: «Ну, наконец-то».

— В Тверь, — повторила Настасья. — Опять почта?

— Опять почта.

Она смотрела на него. У неё были серые глаза, спокойные, деревенские, которые ничему не удивлялись.

— Ты, Митя, когда про Тверь говоришь, у тебя лицо делается, как у мальчишки, — сказала она. — Как у Саввы, когда он лошадку ломает.

— Не делается.

— Делается. — Она взяла с полки чистую рубаху, сложила, сунула ему в руки. — Возьми. И носки шерстяные. Там холодно.

Он взял. Наклонился. Поднял Савву. Савва засмеялся, ухватил его за усы.

— Папа, — сказал он. — Поехал?

— Поехал.

— А лошадка?

— Лошадка останется. Ты её стереги.

Савва серьёзно кивнул. Дмитрий поставил его на пол. Савва тут же сел и стал стеречь лошадку.

Из комнаты, от окна, позвала тётка. Негромко.

— Митька.

Он вошёл. Тётка сидела в кресле, маленькая, усохшая, в чепце, который носила с восемнадцатого года, с тех пор как три месяца побыла пани Ковальской на Маросейке. Она говорила, что чепец ей понравился.

— Варнак? — спросила она.

Он удивился. Он ещё никому не говорил.

— Откуда ты знаешь?

— Соседка газету принесла, — сказала тётка. — Я её попросила почитать. Она мне прочитала. — Тётка посмотрела на него. — Это он?

— Нет.

— Я так и думала, — сказала тётка. — Он бы старика не тронул. Сторожа. Он, Митька, людей не трогал. Он их только… — Она поискала слово. — Перекладывал.

— Перекладывал?

— Как в карты. Как пасьянс. — Тётка закрыла глаза. — Я его один раз видела, Митька. Ты не знаешь. В девятом году. Он ко мне приходил. Сюда. Пока тебя не было. В образе странника. С посохом. Попросил воды. Я дала. Он попил и говорит: хороший у вас племянник, Матрёна Савельевна. Берегите. А я его не узнала. Я потом узнала, когда ты рассказывал, кто это был.

Дмитрий стоял посреди комнаты.

— Ты мне никогда не говорила.

— А зачем? — Тётка открыла глаза. — Ты бы стал искать. А он не хотел, чтобы его искали. — Она помолчала. — Он лица не показал. Капюшон был. Только руки. Руки спокойные. Очень. Я ещё подумала: странник, а руки как у барина.

* * *

В одиннадцать часов поезд на Тверь отошёл с Николаевского вокзала. Дмитрий сидел у окна в вагоне третьего класса и смотрел, как уходят назад пакгаузы, водокачки, заборы, дачи под снегом. Рядом с ним на лавке лежал портфель. В портфеле были три карточки из картотеки. Он вынул их перед уходом из ящика «Кр — Кс».

Первая: «Кривошеин Семён Иванович. 2.III.1879, Ржев. Мещанин. Актёр. Клички: Суфлёр, Артист, Варнак (полицейская). Провокатор охранки 1903–1904 (Штейнгель). Задержан 26.XI.1909. Объявлен умершим 6.XII.1909, Петропавловская крепость, кам. 17. В действительности жив (со слов Г. П. Ведерникова, 1918). Приметы: лицо изменено. Оружия не носит. Не убивает. Знак: ветка сирени, рисованная карандашом. Почерк ровный, лёгкий». И в углу, мелко: «В лицо не видел».

Вторая карточка была пустая. Только заголовок: «Варнак (ложный)». И дата: «14.II.1923».

Третью он ещё не заполнил.

Он достал карандаш. Подумал. И написал на второй карточке, под датой:

«Сирень восковая, магазинная. Карточка типографская, со старой орфографией, с именем. Убиты двое. Взято церковное. Двое конвойных пропали: свои? Газета знала раньше милиции».

Он посмотрел на написанное. Потом подумал ещё и дописал:

«Он хочет, чтобы все поверили, что это Варнак. Значит, ему нужно, чтобы искали Варнака. Значит, ему нужно, чтобы не искали его».

Поезд шёл на Тверь. За окном был снег. Белый, ровный, бесконечный. Как чистая карточка.

Глава 3

Гохран

Тверь Дмитрий знал наизусть. Он здесь родился. Здесь, на Затьмацкой стороне, в доме у Смоленского кладбища, вырос. Здесь в девятьсот девятом году служил почтальоном и носил на почту заказные письма, и в одном из них была первая записка Варнака. Здесь похоронили отца. Здесь, на Смоленском кладбище, лежали Глинский и Панкратов, под одним крестом, потому что на два креста в девятом году не хватило денег.

Тверь изменилась. Вывески были новые. «Тверьторг». «Губсовнархоз». «Кооператив "Красный ткач"». И были вывески, каких не было в восемнадцатом, в девятнадцатом, в двадцатом, а теперь появились опять, как грибы после дождя. «Колониальные товары. Бр. Смирновы». «Ресторан "Волга". Обеды, ужины, оркестр». «Мануфактура. Оптом и в розницу». Нэп. Витрины. Окорока в витринах. Шоколад «Эйнем» в витринах. Дамы в каракулевых шубках, которые останавливались у витрин.

Губмилиция помещалась на Советской, бывшей Миллионной, в бывшем доме губернского жандармского управления. Дмитрий поднялся по лестнице, на которой в девятьсот девятом году стоял Ведерников, в мундире, с аксельбантами, и смотрел на него, на почтальона, сверху вниз.

Его ждали.

* * *

— Сыромятников? Из МУРа? — Начальник губугрозыска, Кондратов, был толстый, лысый, бывший телеграфист. — Ну, слава Богу. А то тут у меня уже полдня сидит этот. Из Гохрана.

— Тихомиров?

— Он самый. — Кондратов понизил голос. — Приехал в десять утра. На автомобиле. Из Москвы. Сам. Без шофёра. В шубе. Всё ему покажи, всё расскажи. Он у меня в кабинете уже третий стакан чаю пьёт.

— Пусть пьёт, — сказал Дмитрий. — Где раненый?

— В губернской больнице. Плечо повреждено, но жить будет. При нём знакомая из почтовой конторы. Она накануне видела подозрительного посетителя.

— Что?

— Говорит, что у главного ус отклеился.

Дмитрий посмотрел на него.

— Пойдём, — сказал он. — Сначала к Тихомирову.

* * *

Валериан Сергеевич Тихомиров сидел в кабинете Кондратова, у окна, на венском стуле, нога на ногу, со стаканом чаю в подстаканнике. Ему было сорок семь лет. Высокий. Стройный, несмотря на годы. В хорошем сером костюме-тройке, явно сшитом не в Москве, а где-нибудь ещё, до войны, и бережно сохранённом. Белоснежная сорочка. Галстук-бабочка. Пенсне в тонкой золотой оправе, на шнурке. Лицо гладко выбритое, холёное, с крупным носом, с подвижным ртом, с глубокими складками у губ. Волосы седеющие, зачёсанные назад, блестящие от бриллиантина.

Он встал, когда вошёл Дмитрий. Поставил стакан. Протянул руку.

— Товарищ Сыромятников, — сказал он. — Тихомиров. Гохран. Очень, очень рад. Мне говорили, что пришлют лучшего, и я вижу, что не обманули.

Голос у него был поставленный. Звучный. Красивый. Каждое слово он произносил отдельно, ясно, с лёгким нажимом на ударный слог, как произносят на сцене. Он говорил «очень, очень рад», и это звучало так, как будто он и правда очень, очень рад.

Рука у него была сухая, гладкая, с длинными пальцами. На мизинце левой руки перстень. Золотой, с печаткой.

— Садитесь, Валериан Сергеевич, — сказал Дмитрий.

Тихомиров сел. Дмитрий сел напротив. Кондратов остался у двери.

— Ужасная история, — сказал Тихомиров. Двое молодых людей убиты. Старик ранен. И ценности… — Он покачал головой. — Вы знаете, что там было?

— Расскажите.

— Последняя партия Тверской епархии. — Тихомиров снял пенсне, протёр его белоснежным платком, надел. — В прошлом году, при изъятии, кафедральный собор и Отроч монастырь сумели часть спрятать. Попы, знаете ли. Хитрые люди. Нашли только в январе. В подвале под алтарём. Двенадцать потиров, золочёного серебра, XVII века. Четыре напрестольных креста. Оклад с Владимирской иконы, золото, жемчуг, сапфиры. Две митры. Панагии. И ещё, это отдельно, золото в монете. Царские червонцы. Тысяча четыреста штук. Это из сейфа бывшего Тверского отделения Государственного банка, которое тоже нашли только сейчас, замурованным в стене. — Он развёл руками. — Полмиллиона золотом, товарищ Сыромятников. По самой скромной оценке. Для Гохрана это немного. Для республики это хлеб для целой губернии.

— Кто знал, что ценности оставят в особняке?

— Кто знал? — Тихомиров поднёс палец к губам, нахмурился. — Я, мой заместитель, двое оценщиков, которые приезжали сюда в январе. Здешняя губотдел ГПУ, разумеется. Заведующий хранилищем, охрана… Человек двадцать, я думаю. Много, понимаю. Но так всегда.

— Охрану давали вы?

— Охрану даёт батальон. Я только прошу. — Тихомиров улыбнулся. — Я попросил усиленную, учитывая ценность. Мне дали четверых. Двое, как я понимаю, убиты. А двое…

— Двое пропали.

— Двое пропали, — повторил Тихомиров печально. — Я уже телеграфировал в батальон. Их ищут. Рыжов Степан и Гиоргадзе Арсен. Их назначили вчера, в последний момент, вместо двоих заболевших. — Вы думаете, они были в сговоре?

— Я ничего не думаю, Валериан Сергеевич. Я только приехал.

— Разумеется. Простите, тороплюсь. Это от волнения. — Тихомиров отпил чаю и посмотрел на Дмитрия поверх пенсне. — А что вы скажете, товарищ Сыромятников, про Варнака?

— А что вы хотите, чтобы я сказал?

— Ну как же. — Тихомиров всплеснул руками. Жест был широкий, театральный. — Варнак! Легенда! Я помню, в девятом году все газеты писали. Почтовые вагоны, записки с веткой сирени, нарисованной карандашом. Провокатор охранки, который мстил своему хозяину. И потом крепость. И смерть в камере. И слухи, что жив. — Он помолчал. — А теперь этот особняк. Снова сирень и карточка. — Он посмотрел на Дмитрия. — Вы ведь были в том деле, в девятом году? Мне говорили.

— Был.

— Это он?

— Нет, — сказал Дмитрий.

Тихомиров поднял брови.

— Почему вы так уверены?

— Потому что сирень была карандашная, — сказал Дмитрий. — А здесь, мне сказали, восковая. Из шляпного магазина.

Тихомиров ответил не сразу. Потом негромко рассмеялся.

— Вы правы, — сказал он. — Конечно. Грубая подделка. Бандиты начитались газет. — Он покачал головой. — Боже мой, как всё измельчало. Даже Варнаки.

* * *

В четвёртом часу Тихомиров собрался уезжать. У крыльца стоял открытый тёмно-вишнёвый «Фиат» с брезентовым верхом и гербом РСФСР на дверце. В шубе, меховой шапке и кожаных перчатках с крагами Тихомиров сам сел за руль, поправил автомобильные очки на лбу, помахал Кондратову и кивнул Дмитрию.

— Звоните мне, товарищ Сыромятников, — сказал он. — В любое время. Гохран, Настасьинский переулок. Спросите меня. Я всегда на месте.

Автомобиль чихнул, выпустил облако сизого дыма и уехал по Советской, распугивая извозчиков.

Дмитрий стоял на крыльце губмилиции и смотрел ему вслед.

— Хорош, — сказал Кондратов рядом. — Барин. Я таких до революции видел. В «Европейской» в Петербурге, когда телеграммы носил. — Он сплюнул. — А теперь он у нас в Гохране. Советская власть.

— Он не барин, — сказал Дмитрий.

— А кто?

Дмитрий припомнил, как Тихомиров протирал пенсне, подносил палец к губам, разводил руками. Даже смеялся он так, словно перед ним сидела публика.

— Он хорошо играет барина, — сказал он. — Это другое.

Кондратов посмотрел на него, ничего не поняв.

— Ещё одно, — сказал Дмитрий. — Он знал про карандаш.

— Какой карандаш?

— Он сказал: «Ветка сирени, нарисованная карандашом». — Дмитрий смотрел на пустую улицу, по которой уехал «Фиат». — Про сирень в девятом году писали все газеты. А про то, что карандашом, ни одна. Это было только в деле. В полицейском. В деле номер четыреста двенадцать.

— Ну и что? Может, читал где.

— Может, — сказал Дмитрий. — Только где?

* * *

Особняк Дмитрий осмотрел в тот же день, прежде чем отправиться в больницу.

Дворник Мокеев встретил его у ворот и провёл во двор.

— Ночью я ничего не слышал, товарищ. Только утром Иван Никифорович позвал меня за милицией.

— А сани видели?

— Вечером стояли у ворот. Двое в хороших шубах разговаривали с конвойными.

Мокеев повёл его к заднему крыльцу.

— Здесь стояли сани.

На снегу у хозяйственного выезда сохранились широкие полозья двух тяжёлых саней.

Дмитрий осмотрел двор и вышел за ворота.

У переулка следы смешивались с колеями подвод.

Но не все.

У ворот особняка, в снегу, Дмитрий нашёл окурок. Сигарета. Не самокрутка, не папироса. Сигарета, тонкая, с золотым обрезом на конце, недокуренная, брошенная, наверное, при

остановке. Он поднял её. Прочитал на бумаге, у ободка, мелкими золотыми буквами: «Abdulla. London».

Английские. Таких в Москве не продавали. Даже на Сухаревке. Их можно было купить только у контрабандистов, которые возили их через Ригу. Или в ресторанах для иностранцев. Или в Гохране, если там торговали ценностями с англичанами.

Он завернул окурок в чистый носовой платок и спрятал во внутренний карман.

Рядом с окурком, чуть дальше, в снегу, лежало ещё что-то. Маленькое, чёрное, мохнатое. Он нагнулся.

Ус.

Половина пышного чёрного уса, закрученного кверху. Конский волос был тщательно подобран по цвету; на тонкой марлевой подложке блестела засохшая плёнка клея.

Дмитрий держал его на ладони. Ветер шевелил волоски.

Он вспомнил, как Кондратов сказал: «Девчонка говорит, у главного ус отклеился».

Он завернул ус в другой платок и вернулся к Мокееву.

* * *

Перед отъездом из Твери он зашёл на Смоленское кладбище.

Был вечер. Снег на кладбище лежал нетронутый, по колено, и только одна тропинка, узкая, протоптанная кем-то одним, вела от ворот вглубь, мимо часовни, мимо старых купеческих склепов с чугунными решётками, мимо берёз. Дмитрий шёл по ней и думал, что знает, кто её протоптал.

Под одним крестом, деревянным, почерневшим, с жестяной табличкой, лежали двое. «Полковник С. А. Глинский. Ф. И. Панкратов. 1909». Больше ничего. На два креста в девятом году не хватило денег, а на третью строчку не хватило места. Рядом, в трёх шагах, под другим крестом, лежал отец. «Савелий Сыромятников. 1851–1907».

Снег у крестов аккуратно расчистили лопатой. У подножия общего креста лежал букетик простых синих и белых цветов из гофрированной бумаги, какие продают на Пасху у кладбищенских ворот.

— Это я, — сказал голос за спиной.

Дмитрий обернулся. На тропинке стоял старик. Маленький, сутулый, в длинном чиновничьем пальто с бархатными петлицами, споротыми, но оставившими на сукне тёмные следы. В меховой шапке. С бородкой. С палкой.

— Пётр Евграфович, — сказал Дмитрий.

— Узнал, — сказал старик. — Митька Сыромятников. Почтальон. Тощий. — Он подошёл. Остановился у креста. — Я сюда хожу каждую субботу. С девятого года. Расчищаю. Ставлю цветы. — Он помолчал. — Полковник у нас в конторе бывал. Вежливый был. Всегда здоровался. С почтальонами тоже. Таких было мало.

Они стояли у креста вдвоём. Начальник Тверской губернской почтовой конторы, бывший титулярный советник, бывший начальник отделения, и его бывший почтальон.

— Ты из-за особняка приехал?

— Из-за особняка.

— Тоню мою видел?

— Ещё не видел. Собираюсь в больницу.

Пётр Евграфович после долгой паузы кивнул.

— Поговори с ней. Она переписывала накладную на ценности. Я сам видел расписку: «Уполномоченный Гохрана Зуев А.». Красивая подпись. Офицерская, с хвостом.

— Зуев, — повторил Дмитрий.

— Зуев. В кожаном пальто. Он ключи от кладовой забрал. — Пётр Евграфович смотрел на крест. — Я тридцать пять лет на почте. Я знаю, как расписываются уполномоченные. Они расписываются так, будто им скучно. А этот расписался, будто на параде. Будто за ним генерал

смотрит. — Он помолчал. — Так расписываются только офицеры. Старые. Которых ещё в корпусе учили.

Дмитрий записал фамилию в блокнот. Потом поднял голову.

— Пётр Евграфович. Вы бы это губотделу ГПУ сказали.

— Я им сказал, — ответил старик. — Они записали. И сказали: Зуев, уполномоченный, всё правильно, документы в порядке. — Он поправил бумажный букет на снегу. — Я тебе это говорю, Митька, потому что ты мой почтальон. Ты заказное всегда доносил. Даже то, первое. С запиской. Ты его донёс, хотя тебе было страшно.

Он повернулся и пошёл по тропинке обратно, к воротам. Маленький, сутулый, с палкой.

Дмитрий постоял у креста ещё немного. Потом нагнулся, взял горсть снега и положил на холмик отца. Так делали в Твери, когда некому было принести цветы.

Глава 4

Тоня

Губернская больница на Советской была та же, что в восемнадцатом году, когда в ней лежала Ядзя Цвирко. Те же коридоры, выкрашенные до половины масляной краской, те же железные койки, тот же запах карболки, хлорки и кислой капусты. Только сиделки были другие. У окна висел портрет Ленина.

Ивана Никифоровича Ряднова положили в хирургическом отделении, в палате на шестерых. Он лежал у окна, перевязанный, с рукой на подвязке, с усами, которые за ночь обвисли и которые он теперь, одной рукой, пытался подкрутить. У его койки, на табурете, сидела девушка.

Дмитрий остановился в дверях.

Ей было девятнадцать. Худенькая, со светло-русыми волосами, остриженными по-комсомольски, под мальчика. На вязаной кофте — значок. В юбке до середины икры, в шерстяных чулках, в валенках. Лицо скуластое, курносое, бледное, с веснушками, которые зимой не сходят, и глаза серые, внимательные, сердитые.

Дмитрий вспомнил свою первую встречу со следователем.

Ему тогда тоже было девятнадцать.

Она подняла голову и посмотрела на него.

— Вы из Москвы? — спросила она.

— Из Москвы.

— Из МУРа?

— Из МУРа.

— Наконец-то, — сказала она. — А то тут один из губотдела ГПУ приходил, ничего не записал. Сказал: бандиты, бывшие, всё ясно. А ничего не ясно.

Иван Никифорович на койке закряхтел.

— Тоня, — сказал он. — Ты повежливей.

— Я вежливо, Иван Никифорович. — Она встала. Протянула Дмитрию руку. По-мужски. Крепко. — Лапшина. Антонина. Служащая почтовой конторы.

— Сыромятников. Дмитрий Савельевич.

— Савельевич, — повторила Тоня. И вдруг нахмурилась. — Сыромятников. Это вы? Вы тот почтальон?

— Какой почтальон?

— В девятом году. — Тоня смотрела на него. — Мне Пётр Евграфович рассказывал. Начальник нашей конторы. Он ещё при царе служил. Он говорил, был у них в конторе такой почтальон, Митька Сыромятников, девятнадцати лет, который нашёл записку Варнака в заказном письме. И потом поймал Варнака. С жандармами. — Она помолчала. — Он говорил, вы потом в Москву уехали, в прокуроры.

— Не в прокуроры, — сказал Дмитрий. — В письмоводители. При прокуроре.

— Всё равно. — Тоня смотрела на него с интересом. Как смотрят на памятник, который вдруг заговорил. — Значит, вы знаете. Вы знаете, что это не Варнак.

— Знаю.

— А они не знают, — сказала Тоня. — Тот, из губотдела ГПУ. Он сказал: Варнак вернулся, в газете написано.

* * *

Антонина объяснила, что накануне преступления принесла в особняк бумаги и застала там незнакомца.

Пока Ряднов сверял накладные, посетитель в бобровой шубе попросил её указать дорогу к канцелярии. Она запомнила его лицо и голос. Ночью её в особняке не было.

Дмитрий записывал карандашом в блокнот.

— Приметы, — сказал он. — Главного. Всё, что помните.

— Высокий, — сказала Тоня сразу. — Выше вас на голову. Прямой. Не сутулый. Шуба бобровая, до пят. Шапка бобровая. Трость. Чёрная, с серебряным набалдашником. Набалдашник в виде собачьей головы. Брюки полосатые, в ёлочку, серые. Ботинки лакированные. На ботинках калоши. Перчатки серые, лайковые. — Она перевела дух. — Усы чёрные. Пышные. Закрученные. Бородка клинышком. Брови чёрные, густые. Глаза тёмные. Кожа…

Она остановилась.

— Что кожа?

— Кожа странная, — сказала Тоня медленно. — Как у куклы. Гладкая. Ровная. Без морщин. И блестит. Чуть-чуть. Как будто намазана. — Она подумала. — Как у актёров. На сцене. Нас водили в театр, с ячейкой, за кулисы, и там была одна актриса, пожилая, Анна Павловна, и она нам показывала, как гримируются. Сначала мажут лицо вазелином. Потом тон. Потом пудра. И в свете лампы кожа блестит. Вот так.

— И пахнет?

Тоня посмотрела на него.

— Пахнет, — сказала она. — Вы откуда знаете?

— Мне Кондратов сказал, вы говорили про ус.

— Про ус. — Тоня кивнула. — Да. Он отклеился. Левый. Когда он наклонился над накладной. Он провёл по нему пальцем, вот так, и край отошёл. И я увидела кожу. Под ним. Бритую. С синевой. И клей. Блестящий. — Она помолчала. — Он его прижал. И ус приклеился обратно.

Дмитрий достал из кармана носовой платок. Развернул. Положил на одеяло Ивана Никифоровича, перед Тоней.

Половина уса. Чёрного. Пышного. Закрученного.

Тоня смотрела долго.

— Это левый, — сказала она. — Видите, как закручен? Вверх и наружу. Влево. — Она протянула руку, но не тронула. — Где вы его нашли?

— У ворот особняка.

— Значит, он потерял его позже. Усы были накладные, товарищ Сыромятников.

— Не барин, — согласился Дмитрий.

— А кто?

— Это я и хочу знать.

* * *

— Есть ещё одно, — сказала Тоня.

Тоня покосилась на Ивана Никифоровича. Старик лежал с закрытыми глазами, но спал ли он, она не знала.

— Что?

— Он попросил меня подать чернильницу. Сначала говорил по-барски, а потом вдруг сказал: «Спасибо, товарищ».

Дмитрий перестал писать.

— Товарищ?

— Товарищ, — повторила Тоня. — Голос сразу изменился. До этого он говорил «любезнейшая», словно актёр на сцене, а тут заговорил совершенно обыкновенно.

Дмитрий долго молчал.

Он думал о девятьсот девятом годе. Тогда, в почтовом вагоне под Тверью, налётчик, который называл себя рабочим, сказал «господа». Это было его первое дело. Первая ошибка, которую он увидел. Человек, который играет одного, а говорит словами другого.

Теперь было наоборот. Человек, который играл бывшего, сказал «товарищ».

— Ты понимаешь, что это значит? — спросил он. Он сам не заметил, как перешёл на «ты».

— Понимаю, — сказала Тоня. — Похоже, он не бывший, а наш. Советский. Он каждый день говорит «товарищ». На работе. Так часто, что не замечает.

— Возможно.

— И ещё. Человек в кожаном пальто забрал ключи от кладовой. Я видела это, когда принесла накладную. А Иван Никифорович говорит, что ночью у чернявого конвойного были ключи. Значит, надо выяснить, откуда они у него.

— Ты кому-нибудь это говорила?

— Тому, из губотдела ГПУ. — Тоня пожала плечами. — Он не записал.

— Больше никому?

— Ивану Никифоровичу.

— И всё?

Тоня подумала.

— И ещё сегодня, рано утром, приходил один человек, — сказала она. — Сюда. В больницу. Из Москвы. Он сказал, что из Гохрана. Очень вежливый. В пенсне. Он спросил, как Иван Никифорович. Принёс ему апельсинов. Настоящих. — Она кивнула на тумбочку. На тумбочке лежали три апельсина, оранжевые, яркие, невозможные в тверской больнице в феврале двадцать третьего года. — И он спросил меня, что я видела. Я рассказала.

— Всё?

— Всё, — сказала Тоня. — Про ус. И про слово. — Она посмотрела на Дмитрия. И вдруг увидела его лицо. И поняла. — Не надо было?

Дмитрий молчал.

* * *

Он вышел из больницы в сумерках. Постоял на крыльце. Закурил. Он курил редко, только когда надо было подумать. Настасья ругалась.

Тихомиров побывал в больнице ещё до визита к Кондратову. В десять утра он уже сидел у начальника угрозыска и уверял, что только приехал из Москвы.

Выходит, он мог находиться в Твери ещё в ночь налёта.

Если же он выехал из Москвы после получения телеграммы около девяти утра, то едва ли успел бы добраться до больницы так рано. Следовало проверить, когда именно он отправился в Тверь.

Дмитрий бросил папиросу в снег.

Он вспомнил, что тётка Матрёна сказала про Кривошеина: «Он людей не трогал. Он их только перекладывал». И подумал, что этот, новый, тоже перекладывает. Но не так. Кривошеин перекладывал людей, чтобы они оказались там, где он хотел. А этот перекладывал их так, чтобы их не стало.

Он вернулся в больницу.

* * *

Тоня сидела на том же табурете. Иван Никифорович спал. Апельсины лежали на тумбочке.

— Собирайся, — сказал Дмитрий.

— Куда?

— В Москву.

Тоня встала.

— Зачем?

— Затем, что ты запомнила посетителя особняка и рассказала об этом человеку из Гохрана. Пока мы не выясним, кто он, лучше уехать.

Тоня побледнела. На побледневшем лице резче проступили веснушки.

— Вы думаете, это был он?

— Я думаю, ты не должна оставаться в Твери. — Дмитрий взял с тумбочки апельсин. Повертел в руке. Понюхал. К цитрусовому запаху примешивался едва уловимый аромат фиалки. — Ты хотела на рабфак?

— Хотела. — Тоня смотрела на него. — Откуда вы знаете?

— Пётр Евграфович говорил, что ты хочешь учиться в Москве.

— Я это говорила?

— Говорила.

Тоня молчала. Потом сказала:

— Он и это рассказал?

— Да. Пойдёшь работать на Главный почтамт, в сортировку. Я договорюсь. Жить будешь у моей жены на Плющихе. Тесно, но тепло.

— А Иван Никифорович?

Старик на койке открыл глаза. Он не спал.

— Иди, дочка, — сказал он хрипло. — Иди. Я тут без тебя не помру. Меня Пётр Евграфович навестит. — Он посмотрел на Дмитрия. — Береги её, Митька. Я тебя помню. Ты в девятом году мне заказное приносил. С Затьмацкой. Ты был тощий и упрямый. — Он закрыл глаза. — А апельсины забери. Я их есть не буду. Не люблю я апельсинов. От них пахнет не по-нашему.

* * *

Ночной поезд на Москву уходил из Твери в половине двенадцатого. Они сидели в вагоне третьего класса, у окна, друг против друга. Тоня держала на коленях фанерный чемоданчик, перевязанный бечёвкой. В чемоданчике умещалось всё её имущество: две кофты, юбка, бельё, учебник арифметики Киселёва, фотография отца под стеклом и устав КИМ в бумажной обложке.

Вагон был набит мешочниками, красноармейцами и женщинами с корзинами. Старик с гусем всю дорогу молчал. Пахло махоркой, овчиной и кислой капустой. Под потолком качался фонарь со свечным огарком.

Тоня не спала. Она смотрела в окно. За окном не было ничего. Темнота и снег.

— Это мой отец, — сказала она вдруг, не оборачиваясь. — На фотографии. Вы видели.

— Видел.

— Он был сцепщик. На Тверской станции. Двадцать лет. — Она помолчала. — В девятнадцатом году пошёл добровольцем. Под Царицын. С бронепоездом. Его убило в октябре. Нам прислали письмо. Одно слово: «Геройски». Мама его в рамку поставила, рядом с фотографией. Письмо. Потом мама умерла. От тифа. В двадцатом. — Она сказала это ровно. Как в показаниях. — Мне Пётр Евграфович место дал. В почтовой конторе, а потом и в вагоне. Сказал: Лапшина, у тебя глаза зоркие и почерк хороший, сортируй.

— Сортируешь хорошо?

— Лучше всех на линии. — Тоня повернулась. — Тысячу двести писем в час. Я адреса не читаю. Я их вижу. Сразу. Как лица.

Дмитрий кивнул. Он тоже когда-то так видел адреса. На Затьмацкой. В девятьсот девятом.

Поезд стучал. Старик с гусем задремал. Гусь не дремал.

— А вы почему? — спросила Тоня.

— Что почему?

— Почему в сыщики? — Она смотрела на него прямо. — Вы же почтальон были. Почта честная работа. Принёс письмо, отдал, расписался. А сыщик… — Она поискала слово. — Сыщик всегда в чужом белье копается.

Дмитрий подумал.

— Мне было девятнадцать, — сказал он. — Как тебе. Под Тверью ограбили почтовый вагон. Я в нём не ехал, я разносил. Но я видел то, чего другие не видели. Мелочь. Как ты видела ус. — Он помолчал. — Я сказал об этом следователю. Следователя звали Панкратов. Он меня выслушал и не прогнал. Это было самое удивительное. Взрослый человек, в мундире, выслушал почтальона и не прогнал.

— А потом?

— А потом его убили. В том же году. — Дмитрий смотрел в окно. — И я остался. С тем, чему он меня успел научить. Ставить ногу на край ступеньки. Делать два экземпляра. Слушать, что люди говорят, когда думают, что молчат.

Тоня долго молчала. Потом посмотрела на него.

— Значит, вы тоже сортируете, — сказала она. — Только не письма. Людей.

— Да, — сказал Дмитрий. — Только людей. Только их нельзя разложить по ящикам. Они вылезают.

Тоня засмеялась впервые за этот тяжёлый день.

* * *

Под Клином она уснула, прислонившись головой к оконной раме. Чемоданчик держала обеими руками.

Дмитрий не спал. Дважды выходил в тамбур, присматриваясь к пассажирам. Мимо прошли проводник с фонарём, красноармеец, которого тошнило, и женщина, разыскивавшая сына. Человек в пенсне так и не появился.

Он вернулся. Сел. Тоня открыла глаза.

— Он не придёт, — сказала она сонно. — Вы зря ходите.

— Почему не придёт?

— Он в мягком едет. Или вообще не едет. — Она снова закрыла глаза. — Он в третий класс не пойдёт. Тут гусь.

Она уснула опять. Дмитрий смотрел на неё и думал, что она права. И что это хуже.

* * *

В Москву приехали в седьмом часу. Николаевский вокзал был тёмный, холодный, гулкий. Извозчика не взяли. Пошли пешком. Через всю Москву. По Мясницкой, по Лубянке, по Охотному ряду, по Моховой, по Арбату. Тоня смотрела по сторонам. На вывески. На трамваи. На лотки. На людей в хороших пальто. На беспризорных у костров.

— Москва, — сказала она один раз. Больше ничего.

На Плющихе Настасья открыла дверь, увидела Тоню и молча посторонилась, пропуская гостей.

— Это Антонина, — сказал Дмитрий. — Свидетельница. Поживёт у нас.

Настасья посмотрела на Тоню. На стриженую голову. На веснушки. На чемоданчик с бечёвкой. На руки, красные от холода.

— Сначала поешь, — сказала она. — Потом умоешься. Потом спать. Потом, если захочешь, поплачешь. А разговаривать будем вечером.

— Я не буду плакать, — сказала Тоня.

— Не будешь, так не будешь, — согласилась Настасья. — Тогда просто поспишь подольше.

Она взяла у Тони чемоданчик. Тоня на мгновение крепче сжала ручку, но всё-таки отдала его.

Из комнаты вышел Савва. В рубашонке. Босиком. С деревянной лошадкой. Он остановился посреди кухни и долго смотрел на Тоню. Потом подошёл и протянул ей лошадку.

— На, — сказал он. — Стереги.

Тоня взяла лошадку. Села на табурет. И вдруг беззвучно заплакала, прижимая лошадку обеими руками, как недавно прижимала чемодан.

Настасья поставила перед ней миску со щами. Положила ложку. И ничего не сказала.

Дмитрий вышел во двор. Покурить. Хотя курил редко.

Глава 5

Счетовод

Артель «Красный кожевник» помещалась в Замоскворечье, на Кожевнической улице, в бывших мастерских купца Бахрушина, в длинном кирпичном корпусе с выбитыми окнами второго этажа и с вывеской над воротами, написанной масляной краской по жести. Во дворе пахло дублёной кожей, дёгтем, квасцами и мокрой собачьей шерстью. В корпусе стучали машины. В конторе, в маленькой комнате с окном во двор, за столом, заваленным счетами, накладными и ведомостями, сидел счетовод.

Ему было пятьдесят семь лет. Коротко стриженные седые волосы, усы, очки на кончике носа, чёрные нарукавники поверх старого пиджака. Он быстро щёлкал на счётах, не глядя на костяшки. Они стучали, как метроном. Цифры в ведомости ложились ровными рядами.

Дмитрий стоял в дверях и смотрел на него.

Он видел его в мундире, с аксельбантами, на лестнице тверского жандармского управления, когда ему было девятнадцать. Он видел его в восемнадцатом, на Фурштатской, в продавленном кресле Глинского. Он видел его на палубе баржи у Лисьего Носа, с палкой, у борта, спиной к воде. А теперь видел в нарукавниках, над счетами, в конторе артели «Красный кожевник». И каждый раз это был один и тот же человек.

— Входи, Митя, — сказал Ведерников, не поднимая головы. — Я тебя слышу с лестницы. Ты по-прежнему ставишь ногу на ступеньку всей ступнёй. Панкратов тебя за это ругал.

Дмитрий вошёл.

— Садись. Я сейчас. Тут у меня дебет с кредитом не сходится на одиннадцать рублей сорок копеек. — Ведерников щёлкнул ещё несколько раз. Записал. Отложил перо. Снял очки. — Сошлось. Председатель артели ворует. Немного. По рублю в неделю. На водку. Я ему не говорю. Я ему прибавляю в графе «усушка кож». Это моя благотворительность.

— Григорий Петрович.

— Знаю, — сказал Ведерников. — Читал. «Варнак вернулся?» — Он вынул из ящика стола газету, сложенную вчетверо. — С вопросительным знаком. Это хорошо. Значит, редактор не дурак. Сомневается.

* * *

Они сидели в конторе вдвоём. Ведерников заварил чай в жестяном чайнике на спиртовке. Чай был морковный, но с настоящим сахаром: сахар Ведерникову полагался по карточке артели, полфунта в месяц, и он его не ел, а держал для гостей.

Дмитрий рассказал ему о Твери, Тихомирове, апельсинах и окурке «Abdulla». Особенно подробно пересказал показания Тони: об отклеившемся усе и неожиданном обращении «товарищ».

Потом вынул из портфеля и положил на стол восковую ветку и карточку.

Ведерников надел очки, повертел ветку в руках, поднёс к носу, затем рассмотрел на свету.

— Шляпная, — сказал он. — Магазин «Мадам Жанна» на Кузнецком мосту. Был до войны. Варя там покупала. — Он помолчал. — У них были такие ветки. Сирень, белая и лиловая, по рублю сорок за ветку. Для отделки летних шляп. Варя купила одну в девятьсот пятом году, на Пасху. Я её помню. — Он тронул пальцем восковой цветок. — У них лепестки делала одна мастерица. Старуха. Француженка. У неё был свой приём: она загибала край лепестка вниз, острым ножом, чтобы был как настоящий. Вот. Видишь? Загнут.

— Значит, ветка старая?

— Значит, ветка довоенная. — Ведерников положил её на стол. — Такие сейчас не делают. Старуха, наверное, умерла, магазина нет. Ветку кто-то хранил десять, а то и пятнадцать лет. В сундуке или на старой шляпе. — Он взглянул на Дмитрия. — А может, в театральной костюмерной. Там всё хранят. Сирень на шляпах нужна и для «Месяца в деревне», и для «Чайки», и для «Вишнёвого сада».

Он взял карточку.

— «Варнакъ», — прочитал он. — С ером. — Он перевернул её. Посмотрел на обрез. Пощупал пальцем. — Типографская. Хорошая типография. Золотой обрез. Так печатали визитные карточки у Лемана на Невском. Или у Кушнерёва в Москве. До войны. — Он положил карточку. — Новая. Свежая. Но шрифт старый, и орфография старая. Её напечатали недавно. Нарочно. По-старому. Где-то, где остался старый шрифт.

— Зачем?

— Чтобы было похоже на девятый год, — ответил Ведерников. — Он хочет, чтобы все поверили: вот он, тот самый, вернулся из прошлого. Даже ер на конце оставил.

Он сложил руки на столе.

— Это не он, Митя.

— Я знаю.

— Ты знаешь потому, что он не убивает. А я знаю ещё и потому, что он никогда не подписывался. — Ведерников покачал головой. — Ни разу. Восемнадцать записок в девятом году, три карточки в четырнадцатом, все карточки в восемнадцатом. Ни одной подписи. Ни одного имени. Только сирень. Карандашом. Он не стал бы печатать своё имя на карточке. Тем более полицейское. «Варнак». Это кличка, которую мы ему дали. Он её ненавидел. Он мне говорил в камере: «Варнак, Григорий Петрович, это каторжник. Беглый. Я не каторжник. Я актёр».

* * *

— Тогда кто? — спросил Дмитрий.

Ведерников не спешил с ответом. За окном двое мальчишек-учеников катили по снегу бочку с дёгтем. Он отпил чаю.

— Тот, кто знал его самого, — сказал он наконец. — Не по газетам и не по полицейским донесениям. Знал про сирень, про карандаш, про почтовые вагоны под Тверью. Знал, что Кривошеин актёр. А главного не понял.

— Чего?

— Что он не грабил. — Ведерников повернулся к нему. — Кривошеин ни разу ничего не взял себе. Ни рубля. Он брал письма. Документы. Бумаги, которые были нужны ему против Штейнгеля. А деньги, ценности, золото он оставлял. Ты помнишь, в девятом году, в вагоне. Ты сам там был. Он взял письма. А машинисту за остановку заплатил пять рублей. Своих. — Ведерников усмехнулся. — А этот взял полмиллиона золотом и церковное.

— Значит, этот не понял, — сказал Дмитрий.

— Этот понял по-своему, — сказал Ведерников. — Он думает, что Варнак был грабитель с театральными замашками. Он сам грабитель с театральными замашками. Он смотрит

в зеркало и видит Варнака. — Он помолчал. — Это часто бывает, Митя. Человек смотрит на другого и видит себя. И думает, что понял.

Дмитрий молчал.

— Тихомиров, — сказал он. — Он знал про карандаш.

— Знал, — повторил Ведерников.

— И говорит, и держится как актёр. Даже пенсне протирает словно на сцене.

— Многие говорят, как актёры, — сказал Ведерников. — Особенно теперь. Теперь все играют. Нэпманы играют купцов. Комиссары играют министров. Бывшие играют пролетариев. Я играю счетовода. — Он щёлкнул костяшками на счётах. — Хорошо играю, по-моему.

— Григорий Петрович.

— Знаю, о чём ты хочешь спросить. Нет, Тихомирова я не знал. Фамилия ничего мне не говорит. Таких Тихомировых в России сто тысяч. — Он снял очки и протёр стёкла. — Но Штейнгель любил актёров. Это я знаю.

— Любил?

— Как агентов. — Ведерников надел очки. — Он говорил: актёр — лучший агент. Умеет быть другим, запоминать текст. Вечно без денег, в долгах. Ездит с антрепризами по всей России, и никто не удивляется, что сегодня он здесь, а завтра там. Да ещё тщеславен. Его можно купить не деньгами, а ролью. У Штейнгеля была своя труппа. Так он сам и говорил: «Моя труппа». Человек десять, двенадцать. Кривошеин был первым. Суфлёр. Потом Артист. Потом были другие.

— Кто?

— Не знаю. — Ведерников покачал головой. — Он их держал отдельно. Как Звонаря. Ни одного донесения через Департамент. Только в зелёную книгу. — Он посмотрел на Дмитрия. — А книга уехала в Москву. В восемнадцатом. В ВЧК. В особую папку.

— Двести человек, — сказал Дмитрий.

— Двести человек, — повторил Ведерников. — Кривошеин сказал: «Берегитесь Москвы». Ты помнишь?

— Помню.

— Вот, — сказал Ведерников. — Москва.

* * *

Дмитрий собрался уходить уже в сумерках. Ведерников проводил его до ворот, опираясь на палку и приволакивая ногу. Колено беспокоило его с февраля семнадцатого года.

У ворот Ведерников остановился.

— Ещё одно, Митя.

— Что?

— Программка, — сказал Ведерников.

— Какая программка?

— Ты не помнишь. Тебя не было. — Ведерников смотрел на улицу, на Кожевническую, на трамвай, который полз по рельсам, звеня. — В девятом году, в декабре, когда Оболенцев собирал коробку. Он мне на вокзале перечислял, что туда положил. Записки. Рапорт Глинского. Стекло из Павловска. Протокол допроса. «Антракт». И на самое дно театральную программку. «Ревизор». Вышний Волочёк. Девяносто восьмой год. — Он помолчал. — Её нашли у Кривошеина. При аресте. В кармане. Он носил её с собой одиннадцать лет. Первая роль. Хлестаков.

— Я не знал.

— Ты не спрашивал. — Ведерников повернулся к нему. — Там, в программке, весь состав. Вся труппа. Летний театр в купеческом саду Сутугина. Двенадцать или пятнадцать фамилий. Я её видел один раз, в камере. Не читал. Мне было не до того.

— Вы думаете…

— Кривошеина Штейнгель завербовал в девятьсот третьем году. Провинциального актёра, голодного и тщеславного. — Ведерников посмотрел на него поверх очков. — Но откуда он о нём узнал? Кто ему сказал? Кто привёл?

Дмитрий молчал.

— Может быть, никто. Штейнгель ездил по провинции, любил театр. Мог сам увидеть его на сцене. А может, Кривошеина рекомендовал кто-то из той же труппы, завербованный раньше. Кто знал его ещё с Вышнего Волочка, с той самой роли Хлестакова.

— Где коробка?

— У Оболенцева, — сказал Ведерников. — В сундуке у няни. Под её смертным. Если няня ещё жива.

— Няня умерла в двадцатом году.

— А сундук?

Дмитрий подумал.

— Сундук стоит у Оболенцева в коридоре, — сказал он. — На Арбате. Вера Николаевна на нём сушит бельё.

Ведерников усмехнулся.

— Самое надёжное место в Российской империи, — сказал Ведерников. — Так Оболенцев говорил в девятом году. Иди к нему завтра, Митя. Открой сундук.

Он протянул руку. Дмитрий пожал её. Рука была сухая, холодная, с чернильным пятном на среднем пальце.

— Григорий Петрович, — сказал Дмитрий. — Вы отмечаетесь?

— Отмечаюсь, — сказал Ведерников. — Каждое первое число. На Лубянке. В комнате сорок два. Бывший жандармский полковник Ведерников Г. П. Состоит на учёте. — Он усмехнулся. — Там сидит молодой человек. Вежливый. Он мне каждый раз говорит: «Распишитесь, гражданин Ведерников». И смотрит, как я расписываюсь. Долго. Внимательно. Как будто хочет запомнить почерк.

— Как его фамилия?

— Не знаю. Он не называется. — Ведерников пожал плечами. — Мне всё равно. Я уже старый, Митя. Меня запоминать не надо. Меня скоро и так забудут.

Он повернулся и медленно пошёл к конторе, опираясь на палку. Мальчишки у бочки с дёгтем сняли шапки, сами не зная почему.

Глава 6

Губсуд

Московский губернский суд заседал в бывшем доме страхового общества на Тверском бульваре. У подъезда серого четырёхэтажного здания атланты держали на плечах балкон и смотрели вниз с таким видом, будто их тоже судили. По коридорам сновали люди с портфелями, свидетели с повестками, красноармейцы и подсудимые под конвоем. В бывшем операционном зале, где до революции принимали страховые взносы, теперь заседала уголовная коллегия. Под стеклянным куполом голоса гудели, как в бане.

Андрей Иванович Оболенцев, член губсуда, сидел за столом у окна и третий день изучал экспертизу хлеба. Владелец трёх булочных на Сретенке, Шустов, обвинялся в том, что подмешивал в муку отруби и мел, а хлеб продавал по цене пшеничного. Одно экспертное заключение занимало пятьдесят листов, а свидетелей набралось сорок два.

Ему было тридцать девять лет. Он был всё такой же высокий и сутулый, в пенсне, но волосы у него поредели, а на висках поседели совсем. Он носил теперь не котелок и не кепку, а фетровую шляпу, старую, с полями, и толстовку под пиджаком, как все в губсуде.

Дмитрий вошёл без стука.

— Митя, — сказал Оболенцев, не поднимая глаз. — Я читал. «Варнак вернулся?» Садись.

— Андрей Иванович, мне нужен сундук.

Оболенцев поднял голову.

— Какой сундук?

— Нянин.

Оболенцев долго смотрел на него поверх пенсне. Потом закрыл дело о хлебе.

— Пойдём обедать, — сказал он. — Ко мне. Вера сварила щи. Настоящие. С мясом. Ей пациентка принесла. — Он встал. — По дороге расскажешь.

* * *

За год Арбат преобразился. Над витринами появились вывески: «Кафе „Арбатский подвальчик“», «Парикмахерская Поля», «Колониальные товары». На тротуарах толкались дамы в шубках, мужчины в бобрах, газетчики, беспризорники и торговки семечками. У «Праги» лихач укрыл медвежьей полостью ноги седока в котиковой шапке и его спутницы, свистнул и тронул сани.

— Нэп, — сказал Оболенцев. — Знаешь, Митя, что самое страшное? Мне это нравится. Мне нравится, что опять есть булочные. Что в них опять хлеб. Пусть даже с мелом. — Он вздохнул. — Я ведь интеллигент. Мне нельзя это говорить.

Дмитрий рассказал о тверском особняке, Тихомирове, накладном усе, слове «товарищ» и театральной программке, о которой упоминал Ведерников.

Оболенцев слушал, глядя под ноги, на утоптанный снег. Когда Дмитрий кончил, он долго молчал.

— Гохран, — сказал он наконец. — Ты понимаешь, что такое Гохран, Митя?

— Хранилище.

— Хранилище. — Оболенцев усмехнулся. — Там лежит всё, что взяли у России за пять лет. Царские регалии. Бриллианты императриц. Церковное золото. Ценности из банковских сейфов. Из частных квартир. Из музеев. Всё, что можно продать за границу за валюту, за паровозы, за хлеб. Там лежит половина государства, Митя. — Он помолчал. — В двадцать первом году там уже был процесс. Ты не помнишь? Оценщики. Ювелиры. Воровали камни, подменяли стекляшками. Шестнадцать человек. Двоих расстреляли.

— Помню.

— Так вот. После этого процесса туда посадили своих. Проверенных. Партийных. И Тихомиров твой, наверное, из них. — Оболенцев посмотрел на него. — Если ты пойдёшь против человека из Гохрана, ты пойдёшь против Наркомфина. А за Наркомфином стоит ОГПУ. Экономический отдел. У них там свои интересы. И свои люди.

— Я пока ни против кого не иду, — сказал Дмитрий. — Я иду к вам обедать.

Оболенцев засмеялся.

* * *

Квартира в Кривоарбатском была та же, что в восемнадцатом. Две комнаты из шести. Латыш-красноармеец уехал в двадцатом году на польский фронт и не вернулся. Гувернантка-француженка умерла от испанки. Печник с семьёй остался. Профессор, старый, глухой, со своей библиотекой, тоже остался. Ему было восемьдесят два. Он читал Тацита в подлиннике и не замечал революции.

Дверь открыла Вера Николаевна, маленькая, светловолосая, в переднике и с половником в руке.

— Митя! — сказала она. — Наконец-то. Андрей говорит о тебе каждый день, а ты не приходишь.

Из-за её юбки выглянул четырёхлетний мальчик в перешитой матроске. Светлые волосы он унаследовал от матери, длинный нос — от отца. У самых волос на левом виске темнела маленькая родинка.

— Коля, поздоровайся с дядей Митей.

Коля посмотрел на Дмитрия серьёзно, отцовским взглядом, поверх несуществующего пенсне.

— Здравствуйте, — сказал он. — Вы сыщик?

— Сыщик.

— А пистолет у вас есть?

— Есть.

— Покажете?

— Коля, — сказала Вера Николаевна.

— Потом, — сказал Дмитрий. — Когда вырастешь.

— Я уже вырос, — сказал Коля. И ушёл в комнату, обиженный.

* * *

Большой сундук, окованный железом, стоял между вешалкой и дверью в комнату профессора. Горбатую крышку прикрывал вытертый коврик, на котором лежали аккуратно сложенные наволочки, простыни и детские рубашки.

Вера Николаевна сняла бельё. Оболенцев снял коврик. Под ковриком была крышка, обитая жестью с выдавленными узорами, и висячий замок, медный, старинный, в виде рыбы.

— Ключ у меня, — сказал Оболенцев. Он снял с часовой цепочки маленький ключик. — Няня отдала, перед смертью. Сказала: Андрюша, в сундук не лазь, пока я не помру. А как помру, тоже не лазь. Там моё смертное. Грех.

Он отпер замок.

Сундук был полон. Сверху лежали платки. Нянины. Шерстяные, шёлковые, ситцевые, в цветах. Под платками лежали её праздничные платья, два, тёмные, с кружевными воротничками. Под платьями лежало смертное: саван, белый, из полотна, сложенный, и туфли, белые, матерчатые, на тонкой подошве, которые она купила себе в девятьсот первом году. Туфли были новые. Их ни разу не надевали. Её похоронили в них.

Нет, подумал Дмитрий. Не похоронили. Вот они.

— Её похоронили в другом, — сказал Оболенцев тихо, словно услышав. — В двадцатом году. В голод. Не было подводы. Мы её везли на санках, на Ваганьковское. Я и Вера. Я забыл про туфли. Я вспомнил потом, через неделю. — Он помолчал. — Она бы мне не простила.

Он вынул туфли и саван, положил их рядом.

Под саваном лежала коробка.

Круглая картонная коробка из-под шляпы с поблёкшей наклейкой: «Мадам Жанна. Кузнецкий мост. Шляпы, перья, цветы».

Дмитрий смотрел на наклейку.

— Андрей Иванович, — сказал он. — Откуда эта коробка?

— Нянина, — сказал Оболенцев. — Она в ней хранила свою праздничную шляпку. В девятом году я у неё попросил: дайте, няня, коробку, мне бумаги сложить. Она дала. Шляпку переложила в платок. — Он поднял коробку. Она была лёгкая. — А что?

— Ничего, — сказал Дмитрий. — Совпадение.

Он подумал о восковой сирени. «Мадам Жанна» на Кузнецком мосту. Сирень, белая и лиловая, по рублю сорок за ветку. Ведерников сказал: Варя там покупала.

* * *

Они открыли коробку на кухне, на столе, покрытом клеёнкой. Вера Николаевна увела Колю к профессору, слушать Тацита.

На крышке коробки, на внутренней стороне, рукой Оболенцева, чернилами, было написано: «Варнак. Начато 19 июня 1909 года. Окончено…» И пустое место.

Оболенцев доставал бумаги по одной и раскладывал на клеёнке.

Восемнадцать записок. Семнадцать с петлёй на «д», одна про табак для городового Рябикова. Рапорт Глинского от четырнадцатого мая девятьсот четвёртого года. Выписка Званцева

про дачу «Сирень». Журнал Цвирко и его выписка с семёркой. Стекло из Павловска, завёрнутое в папиросную бумагу. Протокол из «Северной». Протокол допроса в Трубецком бастионе, восемнадцать листов, каждый подписан почерком без единой петли. Картонка со словом «Антракт».

С каждым новым документом Оболенцев медлил всё заметнее. Дмитрию казалось, что старые бумаги оттягивают ему руки.

Он дошёл до дна.

Дно было пустое.

— Программка, — сказал Оболенцев. — Я её положил на самое дно. Я помню. «Ревизор». Вышний Волочёк. Девяносто восьмой год. Я её положил последней. Под всё.

Он перевернул коробку и потряс её. Ничего не выпало.

— Её нет, — сказал он.

Дмитрий взял коробку у него из рук. Посмотрел внутрь. Картонное дно, пожелтевшее, в пятнах. Он провёл по нему пальцем.

И нашёл.

На картонном дне едва проступал карандашный рисунок. Дмитрий наклонил коробку к свету и различил стебель, два листика и гроздь сирени.

Рядом мелким, летящим почерком было выведено:

«Моё. Взял на память. С.».

Оболенцев снял пенсне, опустился на стул и положил очки на клеёнку.

— Когда? — спросил он.

Дмитрий прикидывал, кто мог добраться до сундука. С восемнадцатого по двадцатый год через коридор коммунальной квартиры прошли сотни людей: красноармейцы с обысками, домкомы с проверками, санитары с носилками. Даже печник, чинивший печи во всех комнатах, мог открыть сундук.

— Андрей Иванович, — сказал он. — Когда умерла няня, кто вам помогал? С похоронами? Обмыть, обрядить?

Оболенцев поднял на него глаза.

— Никто, — сказал он. — Вера. И одна старушка. Странница. Она пришла сама, на другой день. Сказала, что знала няню по Нижнему, по Печерскому монастырю. Что няня её когда-то приютила. Она обмыла няню. Обрядила. Читала над ней всю ночь Псалтырь. — Он помолчал. — Она открывала сундук. Искала смертное. Я ей дал ключ. Я не подумал.

— Вы видели её лицо?

Оболенцев долго молчал.

— Нет, — сказал он наконец. — Она была в чёрном. В апостольнике. Платок до бровей. Она всё время смотрела в пол. — Он надел пенсне. — Я запомнил только руки. Она обмывала няню, и руки у неё были… очень спокойные. Я ещё подумал: какие спокойные руки у этой старушки. Как будто она всю жизнь только и делала, что обмывала покойников.

Дмитрий закрыл коробку крышкой. «Варнак. Начато 19 июня 1909 года. Окончено…»

— Значит, программки нет, — сказал он.

— Значит, нет, — сказал Оболенцев.

— Значит, нужно ехать в Вышний Волочёк, — сказал Дмитрий. — В сад Сутугина. Там у хозяина сундук. С афишами за двадцать лет. Глинский писал в девятом году. Хозяин их держит под кроватью и гордится ими больше, чем детьми.

— Сутугину в девятом году было семьдесят, — сказал Оболенцев.

— Значит, теперь у него сундук держат дети, — сказал Дмитрий. — Или внуки. Или домком. Или его сожгли. — Он встал. — Я узнаю.

* * *

В щах было мясо и пахло лавровым листом. Пока Вера Николаевна разливала их по тарелкам, Коля, вернувшийся от профессора, болтал ногами на высоком стуле и рассказывал, что Тацит был римлянином, а римляне ходили в простынях.

— Как няня в сундуке, — сказал он.

Все замолчали.

— Что? — спросила Вера Николаевна.

— Простыня, — сказал Коля. — Белая. В сундуке у няни. Я видел. Папа доставал. — Он посмотрел на отца. — Папа, а зачем няне простыня в сундуке, если няни нет?

Оболенцев положил ложку.

— Это саван, Коля, — сказал он. — В нём хоронят.

— А няню в нём не похоронили?

— Нет.

— Почему?

Оболенцев посмотрел на серьёзное лицо сына, на родинку у левого виска.

— Потому что я забыл, — сказал он. — Люди иногда забывают самое важное, Коля. А потом всю жизнь помнят, что забыли.

Коля подумал.

— Я не забуду, — сказал он.

— Чего?

— Ничего, — сказал Коля и взял ложку. — Я буду всё помнить. Как дядя Митя. Он сыщик. Он всё помнит.

Глава 7

«Жорж» на Петровке

Ресторан «Жорж» открылся на Петровке осенью двадцать второго года, в бывшем доме купца Хлудова, в бельэтаже, где до войны помещалось кафе «Сиу», а после войны ничего не помещалось, потому что окна были выбиты, а паркет сожжён в печках. Теперь в окнах стояли венецианские стёкла, а новый дубовый паркет был натёрт воском до блеска. По стенам висели зеркала в золочёных рамах, а между зеркалами пальмы в кадках, и под потолком люстры, хрустальные, с электрическими свечами, которые горели все до одной, — в Москве, где в половине домов электричество давали по два часа в сутки.

У подъезда стоял бородатый швейцар в ливрее с галунами. Настоящий, царский, из «Метрополя», где он прослужил двадцать лет до семнадцатого года, а потом пять лет торговал папиросами на Страстной площади. Он открывал дверь, кланялся и говорил: «Милости просим» тем, кто приезжал на лихачах. Тем, кто приходил пешком, он ничего не говорил. Он просто стоял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.